

Середина А. О. «Москва» как идеальный топос в художественной прозе Ап. Григорьева / А. О. Середина // Научный диалог. — 2017. — № 11. — С. 264—284. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-11-264-284.

Seredina, A. O. (2017). "Moscow" as Ideal Topos in Prose by Apollon Grigoryev. *Nauchnyy dialog*, 11: 264-284. DOI: 10.24224/2227-1295-2017-11-264-284. (In Russ.).



УДК 821.161.1Григорьев.07

DOI: 10.24224/2227-1295-2017-11-264-284

«Москва» как идеальный топос в художественной прозе Ап. Григорьева¹

© Середина Анна Олеговна (2017), orcid.org/0000-0003-0592-3026, аспирант кафедры истории русской литературы филологического факультета, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия), научный сотрудник отдела русской литературы конца XIX — начала XX века, Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук (Москва, Россия), Seraphil@mail.ru.

Рассматривается образ Москвы как Аркадии в ранней прозе и мемуарах Ап. Григорьева. Актуальность данной работы заключается в том, что образ Аркадии в художественной прозе Ап. Григорьева не становился предметом исследования литературоведов, в то время как видна его несомненная уникальность: писатель перенес Аркадию из сельского пространства в городское. Показано, что при описании Замоскворечья как идеального пространства Григорьев прибегал к образам старого дома и сада, традиционным для усадебной Аркадии, локализуемой обычно в сельской местности. В соответствии с собственной классификацией Григорьева в его мемуарах выделяются «родовая» и «мечтательная» Аркадия, обозначаются элементы идеального топоса, которые можно обнаружить в ранней прозе. Особое внимание уделяется анализу «мечтательной» Аркадии, которая приобретает двойное измерение: личное, биографическое и идейное, связанное с почвенническими убеждениями писателя. Доказывается, что Григорьев ставил себе целью представить Замоскворечье, а вместе с ним и всю Москву в качестве «русской почвы». Такой вывод автор статьи делает на основе того, что Григорьев на уровне поэтики апеллирует к центральным для почвенничества категориям. Также прослеживается взаимопроникновение в образе Аркадии черт романтической и реалистической поэтики.

Ключевые слова: Аполлон Григорьев; мемуары; Аркадия; идеальный топос; почвенничество; романтизм; реализм.

¹ Исследование выполнено в Институте мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) за счет гранта Российского научного фонда (РНФ), проект № 17-18-01432).

1. Введение

Еще со времен античности идеальное место пребывания получило свое воплощение в образе или топосе Аркадии [Дмитриева и др., 2008, с. 144]. (Топос понимается нами как стереотипный, клишированный образ, мотив [Литературная энциклопедия ..., 2001, с. 1076]). В русской литературе образ Аркадии можно обнаружить, например, в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», в идиллиях А. А. Дельвига (в первую очередь, в идиллии «Конец золотого века»), повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», романе И. А. Гончарова «Обломов». Идеальное место, как правило, связывалось с лоном природы, с сельской местностью и противопоставлялось городскому образу жизни.

Однако в художественной прозе Аполлона Григорьева, известного в большей степени в качестве критика и поэта, воплощением Аркадии становится пространство города. Москву как идеальный топос можно обнаружить и в раннем очерке Григорьева 1847 года «Москва и Петербург: Заметки зеваки. I. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге», и в последнем художественном произведении Григорьева — мемуарах «Мои литературные и нравственные скитальчества», ставших вершиной художественного творчества писателя [Егоров, 2000, с. 197]. Кроме того, зачатки аркадских образов и мотивов, которые раскроются в полной мере в мемуарах, присутствуют в рассказах «Мое знакомство с Виталиным» 1845 года и «Офелия» 1846 года, театральной рецензии «Роберт-дьявол» 1846 года и повести «Другой из многих» 1847 года.

2. Задачи и методология

Наша задача — проследить причины переноса Григорьевым Аркадии в пространство города, а также выявить, вносит ли это изменения в принципы формирования образа Аркадии, установившиеся в русской литературе. В связи с тем, что Григорьев считал себя «последним русским романтиком» в эпоху господства реализма, в которую протекала его творческая деятельность (1840—1860-е годы), мы также намереваемся посредством анализа образа Аркадии показать, как в прозе Григорьева отразились черты обоих направлений. В исследовании мы используем герменевтический метод, а также возможности имманентного и сопоставительного анализа.

3. Степень исследованности образа Аркадии в русской литературе

К сожалению, необходимо констатировать, что образ Аркадии в русской литературе до сих пор исследован недостаточно.

В статье Н. Д. Кочетковой 1993 года «Тема “золотого века” в литературе русского сентиментализма» [Кочеткова, 1993] прослеживается, каким образом представления об Аркадии воплощались в разных жанрах русской литературы XVIII века. Так, в похвальной оде царствующему монарху «золотым веком» провозглашалось настоящее время, в идиллии же поиски Аркадии осуществлялись в другом, далеком времени и месте. В сентиментальных путешествиях Аркадию всегда обнаруживали вне дома. Н. Д. Кочеткова отмечает, что тема «золотого века» получает развитие в русской литературе XVIII века «в связи с возникновением разного рода утопий и поисками “рая на земле”» [Кочеткова, 1993, с. 172].

Интересно, однако, что в статье Б. Ф. Егорова 1996 года «Русские утопии» [Егоров, 1996] образ Аркадии не становится предметом исследования, так как ученый посвящает свое внимание утопическим произведениям XIX века с социальной проблематикой, которая была чужда образу Аркадии.

Объяснение тому, почему Аркадия обычно не рассматривается при изучении утопий, можно найти в книге Л. Геллера и М. Нике «Утопия в России», вышедшей на русском языке в 2003 году [Геллер и др., 2003]. Образ Аркадии представляет собой природный мир, предлагающий «человеку счастье и невинность», и этим он противопоставляется утопии в собственном смысле слова, которая предполагает мир искусственный, созданный «человеком по своему плану» [Геллер и др., 2003, с. 8].

Образ Аркадии как мира естественного в русской литературе XIX века рассматривается российскими литературоведами не самостоятельно, а в качестве компонента «усадебного текста» русской литературы. Понятие «усадебного текста» было введено В. Г. Щукиным в книге 1997 года «Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе» [Щукин, 1997] и стало темой многочисленных работ, в связи с чем остановимся только на некоторых из них.

Наиболее полно этапы развития представлений об Аркадии, а также образы и мотивы, из которых строился топос Аркадии на русской почве, исследуются Е. Е. Дмитриевой и О. Н. Купцовой в монографии «Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай» [Дмитриева и др., 2008], первое издание которой появилось в 2003 году.

На Аркадию как доминанту «философии усадьбы» указывает В. А. Доманский в статье «Русская усадьба в художественной литературе XIX века: Культурологические аспекты изучения поэтики» [Доманский, 2006].

Аркадия как один из двух мифологических стереотипов (наравне с Эдемом), на основе которых создавалась русская усадебная культура,

рассматривается в диссертационном исследовании М. В. Глазковой «“Усадьбный текст” в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. А. Фет» [Глазкова, 2008].

Совершенно иная перспектива взгляда на Аркадию открывается в статье немецкого литературоведа Петера Тиргена «Образы Аркадии в русской литературе XVIII—XIX вв.» [Тирген, 2015], опубликованной на русском языке в 2015 году. Ученый не связывает Аркадию исключительно с русской усадьбой, расширяя тем самым поле исследуемых произведений. В статье выделяются три варианта русской Аркадии: идеализированный образ-клише с положительной семантикой; образ Аркадии как некогда существовавшего золотого века, ставшего в настоящем символом потери иллюзий, а также ироническое снижение образа, знаменующее его разрушение. Как констатирует П. Тирген, первый тип аркадского топоса находит свое выражение в русской литературе преимущественно в редуцированном виде: как упоминание, сравнение. При этом разрушение образа, начинающееся с его иронической интерпретации, отмечается с самого появления Аркадии на русской почве. Одной из важнейших вех разрушения образа Аркадии становится выход в 1859 году романа И. А. Гончарова «Обломов».

В названных выше работах не рассматривается образ Аркадии, который можно обнаружить в художественном творчестве Аполлона Григорьева. Образ Аркадии в художественной прозе Ап. Григорьева также не становится объектом внимания ученых, занимавшихся его творчеством, среди которых в первую очередь стоит назвать Б. Ф. Егорова, которому принадлежат биография Ап. Григорьева, вышедшая в серии «ЖЗЛ» [Егоров, 2000], и многочисленные издания григорьевского наследия [Григорьев, 1980; Григорьев, 1999], а также американского слависта Р. Виттакера, автора первой научной биографии Григорьева [Виттакер, 2000]. В диссертационных исследованиях последних лет, посвященных прозе Ап. Григорьева, образ Аркадии или не рассматривался вообще [Гродская, 2006], или не становился объектом пристального внимания [Ларионова, 2017].

4. «Родовая» Аркадия в мемуарах Ап. Григорьева

В своих воспоминаниях Ап. Григорьев пишет, что он воспитывал в душе двойную Аркадию: «родовую» и «мечтательную» [Григорьев, 1980, с. 21]. Под «родовой» Аркадией писатель подразумевает дворянский дом на Тверской, где прошло его раннее детство: «В пять лет у меня была уже Аркадия, по которой я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серо — именно серо казалось мне настоящее. Этой Аркадией

была для меня жизнь у Тверских ворот, в доме Козина. Почему <...> преследовала меня эта Аркадия, — дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть *общая примета моей эпохи*, с другой, коли хотите, — дело физиологическое, родовое, семейное» [Григорьев, 1980, с. 11].

Григорьев называет свое стремление к Аркадии общей приметой эпохи, потому что считает его результатом рано развившейся рефлексии, которая, по его словам, «очень характеристична по отношению к *целому нашему поколению*» [Григорьев, 1980, с. 10]. Своих ровесников Григорьев определяет как поколение трансценденталистов, уточнив, что «трансцендентализм и романтизм — были две стороны одного и того же» [Григорьев, 1980, с. 46—47]. Само обращение писателя к образу Аркадии можно объяснить близостью его мировоззрения идеалам романтиков, которые лелеяли миф о «золотом веке».

Постоянное соотнесение фактов собственной жизни с целой эпохой, со всем поколением является программным для Григорьева. В начале мемуаров писатель обозначает метод, с которым он подходит к освещению своей жизни: «Смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху» [Григорьев, 1980, с. 10]. Таким образом, в мемуарах находит выражение категория типического, являющаяся принципиальной для «органического взгляда», который лег в основу деятельности Ап. Григорьева как основателя «органической критики». На категориях типа и типического, как известно, строилась также поэтика «натуральной школы». Стремление следовать романтическим предпосылкам и реализация на практике реалистических принципов, характерных для своей эпохи, является главной особенностью поэтики григорьевской прозы.

Определяя тоску по Аркадии как родовую черту, Григорьев имеет в виду то, что его отцу и теткам также было суждено испытать утрату Аркадии. Их Аркадия была создана Иваном Григорьевичем, дедом Григорьева, сумевшим, благодаря рвению на чиновническом поприще, выслужить дворянство и приобрести два дома на Малой Дмитровке. «Аркадия богатой жизни», где прошло детство отца и теток Григорьева, закончилась для них вместе с московским пожаром 1812 года, превратившем оба дома в руины. Чувство тоски по утерянной Аркадии Григорьев перенял от своей старшей тетки, «натуры в высшей степени мечтательной и экзальтированной» [Григорьев, 1980, с. 11], также являвшейся «лицом довольно типическим» [Григорьев, 1980, с. 14] и оказывавшей сильное влияние на будущего писателя. «Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом

золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непреходящий возврат этого золотого века для нашей семьи», — отмечал Григорьев [Григорьев, 1980, с. 14].

Однако если для тетки Аркадия была связана с жизнью на Дмитровке, то у Ап. Григорьева Аркадией стала жизнь на Тверской, откуда он вместе с родителями переехал в пятилетнем возрасте в Замоскворечье. Именно благодаря утрате эта жизнь и трансформировалась для Григорьева в Аркадию, которую он назвал «родовой».

5. «Мечтательная» Аркадия в мемуарах Ап. Григорьева

«Мечтательная» Аркадия Григорьева была локализована в Замоскворечье. Ее зарождению способствовала не только привязанность к месту, как в случае с «родовой» Аркадией, но и зачарованность народной жизнью, возникшая благодаря Замоскворечью. Если Тверская, где изначально жил Григорьев, была самым фешенебельным районом города, где проживали аристократы, то Замоскворечье, раскинувшееся на юг от Кремля и отделенное от центра города Москвой-рекой, считалось окраиной. В Замоскворечье проживали в основном купцы, мещане и чиновники. По словам Григорьева, в слободах Замоскворечья «уходила из-под влияния административного уровня и <...> сосредоточивалась упрямо старая жизнь» [Григорьев, 1980, с. 8]. Географическая изолированность Замоскворечья обеспечивала следование в быту традициям, усвоенным от предшествующих поколений, чего нельзя было наблюдать в дворянском сословии. Связь с прошлым станет для Григорьева ключевым признаком категории народности, которая являлась основополагающей для идейного направления «молодой редакции» журнала «Москвитянин», где Григорьев играл одну из лидирующих ролей, а также для разработанной им впоследствии «органической критики» и возникшего из нее мировоззрения почвенничества [Микитюк, 2010, с. 24, 27—29]. «Мечтательная» Аркадия способствует тому, что Григорьев в отличие от славянофилов включает в понятие «народ» не только крестьянство, но также мещанство и купечество.

Однако в детские годы, описанные в мемуарах, контакты Григорьева с народом ограничивались общением с дворовыми, благодаря которым он приобщился к миру народных песен и преданий: «Суеверия и предания окружали мое детство, как детство всякого <...> барчонка, окруженного <...> дворней и по временам совершенно ей предоставляемого. Дворня <...> была вся из деревни, и с ней я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в “Сне Обломова”» [Григо-

рьев, 1980, с. 15]. Интерес к песенной культуре впоследствии выразился у Григорьева в «насаждении культа русского фольклора» [Виттакер, 2000, с. 113] среди членов «молодой редакции» «Москвитянина».

Григорьев и сам считает, что истоки своего мировоззрения следует видеть в том, где и как проходило его детство, — в этом можно усматривать приверженность идее типично реалистической детерминированности характера героя средой, которая его окружает: «Воскормило меня, возлеяло Замоскворечье. Не без намерения назираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью» [Григорьев, 1980, с. 10].

Таким образом, «мечтательная» Аркадия приобретает у Григорьева два измерения: личное (биографическое) и идейное (идеологическое). Несмотря на их тесную переплетенность друг с другом, постараемся рассмотреть, как реализуется каждое из них.

6. Замоскворечье как биографический идеальный топос

Если рассматривать Замоскворечье как личную «мечтательную» Аркадию Григорьева, мы обнаружим, что конструируется она по правилам, свойственным «усадебной Аркадии», несмотря на свою локализованность в городе. Основными элементами личной «мечтательной» Аркадии у Григорьева становятся старый дом и сад.

Как пишет Е. Е. Дмитриева в книге «Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай», «в литературных текстах <...> XIX в. усадебный дом, как правило, фигурирует как дом “старый” и “старинный”, что <...> можно рассматривать как своеобразную мифологему» [Дмитриева и др., 2008, с. 181]. Описывая дом, образ которого стал одним из импульсов, способствовавших формированию личной «мечтательной» Аркадии, Григорьев подчеркивает его ветхость: «Как теперь видится мне мрачный и *ветхий* дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-*старых* воротах, <...> дом с дворянской амбицией, дом, в котором началось мое сознательное детство. Два таких дома стояли рядом, и некогда оба принадлежали одному дворянскому семейству <...>. Оба дома <...> стояли какими-то хмурыми гуляками, *запущенными* или запустившими себя с горя, в ряду других, крепко сколоченных и хозяйственно глядевших купеческих домов с высокими воротами и заборами. Уныло кивал им симпатически только каменный дом с *полуобвалившимися*

ся колоннами на конце переулка, дом тоже дворянский и значительно более дворянский» [Григорьев, 1980, с. 21].

Как утверждает Е. Е. Дмитриева, в «усадебном тексте» «образ старого <...> дома таит в себе скрытую антиномичность. Ибо восприниматься он может как старый как минимум по двум причинам: необжитости и, вместе с тем, слишком густого присутствия в нем прошлого» [Дмитриева и др., 2008, с. 182]. У Григорьева дома описываются как старые, в первую очередь, ввиду их запущенности, потери ими причастности к течению жизни. Примечательно, что эти характеристики объединяют три дворянских дома и противопоставляют их купеческим. Тем не менее на момент переезда с аристократической Тверской Григорьев «относился к этому жилью и к житью в нем с отвращением и даже с ненавистью и все лелеял в детских мечтах Аркадию Тверских ворот с большим каменным домом» [Григорьев, 1980, с. 21]. При этом Григорьев допускал, что именно мрачность замоскворецких «домов с их ушедшим внутрь и все-таки притязательным дворянским честолюбием» [Григорьев, 1980, с. 21] могла подействовать на его впечатлительное воображение и способствовать возникновению двойной, то есть «родовой» и «мечтательной» Аркадии.

Как и усадебный дом, замоскворецкий дом Григорьевых на Болвановке окружал сад: «при старом доме был сад с забором» [Григорьев, 1980, с. 22]. Как пишет Е. Е. Дмитриева, «сад всегда был воплощением уникального идеального архетипа» [Дмитриева и др., 2008, с. 149]. К сожалению, сад в мемуарах Григорьева не стал предметом подробного описания. Однако в ранних прозаических произведениях писателя можно найти проникнутые лиризмом описания сада при родительском доме. В связи с тем, что исследователи называют «самым характерным свойством григорьевской прозы <...> ее автобиографичность» [Егоров, 1980, с. 337], мы можем предположить, что прототипом садов, встречающихся в ранней прозе Григорьева, послужил сад у дома на Болвановке.

В рассказе «Мое знакомство с Виталиным» главный герой Арсений Виталин в своих дневниковых записках вспоминает, что в детстве сад был для него местом сосредоточения спокойствия и гармонии: «Когда терзали меня разные нравственные сентенции, которые я ненавидел до ожесточения, — я уходил в аллею нашего старого сада. Старые тополи, озаряемые полным месяцем, так величаво качали махровыми головами, так были полны гордого сознания законности своего бытия, так были выше людей, изобретших для себя бесчисленные препоны свободной деятельности... Я вслушивался в их таинственно-образный шепот и успокоительно засыпал под их качание...» [Григорьев, 1980, с. 134].

Лиза, разочарованная героиня повести «Другой из многих», признается Ивану Чабрину, в котором видит родственную душу, что с детских лет она ощущала враждебность людей, не понимающих ее высокие чувства и мысли. Понимание Лиза находила только у деревьев: «я бежала к ним, к моим добрым товарищам... как они приветливо качали своими зелеными махровыми головами, как они таинственно шептались ночью, когда я прижималась грудью к толстому стволу моего приятеля, серебряного тополя <...>» [Григорьев, 1982, с. 72—73] Лиза, как и Арсений Виталин, ставит деревья выше людей, потому что они не скованы общественным мнением и по-настоящему свободны.

Как мы подчеркивали в самом начале, Аркадия Григорьева, в отличие от установившейся традиции, находится в городском пространстве. Однако Замоскворечье издревле славилось своими садами: в XV веке там был разбит Государев сад [Памятники архитектуры ... , 1994, с. 13], и в последующем «для многих усадеб Замоскворечья были характерны обширные сады и огороды» [Памятники архитектуры ... , 1994, с. 20]. Как пишут историки, «Замоскворечье долго носило характер предместья: “сельский” колорит в планировке и застройке сохранялся здесь дольше, чем в других частях Москвы, прилегающих к Кремлю» [Памятники архитектуры ... , 1994, с. 13]. Таким образом, обликом Замоскворечья, напоминающим более сельскую, нежели городскую местность, можно объяснить то, что личная «мечтательная» Аркадия Григорьева формируется при помощи тех же элементов, что и Аркадия дворянской усадьбы.

В мемуарах Григорьев называет причиной зарождения Аркадии рефлексии. В ранней прозе писатель определяет эту черту характера как мечтательность, что, в сущности, одно и то же. Ведь Замоскворечье в мемуарах описывается как «мечтательная» Аркадия.

В рассказе «Офелия» Арсений Виталин, известный нам по произведению «Мое знакомство с Виталиным», объясняет процесс погружения в мир мечтаний, порождающий «ожидание лучшего» [Григорьев, 1980, с. 152]: «Мысль о лишении, как о долге человека, явилась тогда мне, и вся жизнь предстала мне длинной цепью лишений <...>. Я сделался *мечтателем*, <...> который принял за факт свое бессилие <...> и бросил якорь спасения в безбрежное море *сна*, пустоты, несуществующего» [Григорьев, 1980, с. 150]. Герой отдает предпочтение миру мечтаний перед действительностью в результате неизбежных утрат, то есть потеря Аркадии в реальной жизни становится причиной ее появления в сфере идей героя. Подобный механизм действует и в случае Лизы из повести «Другой из многих», и в мемуарах, о чем мы уже писали выше.

Как замечает Е. Е. Дмитриева, «в русской литературе <...> рай, Эдем, Аркадия уж слишком часто рифмуются со *сном* и *мечтой*, наконец, *воспоминанием*» [Дмитриев и др., 2008, с. 161]. Как мы видим, это утверждение справедливо и по отношению к художественной прозе Ап. Григорьева. Во всех приведенных примерах из ранней прозы описание сада возникает при погружении героев в воспоминания детства. В мемуарах же появление Аркадии отчасти обусловлено самим жанром.

7. Идеиная «мечтательная» Аркадия в мемуарах

Для более ясного понимания «идеиной» Аркадии Григорьева обратимся вначале к тому образу Москвы, который был традиционен для русской литературы на момент появления мемуаров и с которым Григорьев polemизирует.

Комедия Грибоедова «Горе от ума» надолго закрепила в русской литературе образ Москвы как дворянского города. Однако, как пишет Роберт Виттакер в своей статье «“My Literary and Moral Wanderings”: Apollon Grigor’ev and the Changing Cultural Topography of Moscow», уже в 1835 году А. С. Пушкин отмечал, что Москву коснулись социальные перемены, и на первый план вышло купеческое сословие [Whittaker, 1983, с. 393]. Однако и в 1860-е годы в литературе более популярным был образ фамусовской Москвы.

Его квинтэссенцию Ап. Григорьев видит в «Московских элегиях» М. А. Дмитриева, написанных в 1845—1847 годах и опубликованных только в 1858 году. Как пишет Григорьев в своих мемуарах, элегии Дмитриева создают утрированный образ фамусовской Москвы, который может вызывать только «полнейшее остервенение на такую Москву» и оправдывать «даже хамскую ненависть к почве и Москве» [Григорьев, 1980, с. 56]. Григорьев называет Дмитриева Фамусовым, уверенным, что «Аркадия единственно возможна под двумя формулами, барства, с одной, и назойства, [то есть назойливости] с другой стороны» [Григорьев, 1980, с. 56]. «Барство» Аркадии Дмитриева выражается в презрении народа «и в купечестве, и в сельском свободном сословии» [Григорьев, 1980, с. 56].

Даже соперник Григорьева по журнальной борьбе Н. А. Добролюбов высмеял презрительное отношение Дмитриева к купцам: «Особенное негодование г. М. Дмитриева возбуждают купцы. Вообразите, в нынешней Москве даже купцы осмеливаются есть и пить, сколько их душе угодно. <...> В самом деле, досадно. Всякая дрянь туда же — есть хочет. Другое дело наши предки; те, по крайней мере, боярством заслужили право есть и пить...» [Добролюбов, 1896, с. 221].

Как пишет Григорьев, приверженцы классицизма и сентиментализма, у которых был такой же «узкий идеал народности» [Григорьев, 1980, с. 56], как у Дмитриева, вели литературную борьбу против Н. А. Полевого, купца, издававшего журнал «Московский телеграф», который идейно вдохновлял молодое поколение конца 1820-х и начала 1830-х годов.

Таким образом, в мемуарах Григорьев пытается показать несостоятельность Аркадии, возлелеянной предшествующими поколениями дворян, которые не впускали в нее купеческое сословие, уже давно ярко заявившее о себе. Замоскворечье становится «идейной» Аркадией Григорьева не потому, что он провел там сознательное детство, но потому, что этот район Москвы был заселен по преимуществу купечеством. Как пишет Р. Виттакер, Григорьеву принадлежит значительная заслуга в закреплении в русской литературе нового социального образа Москвы.

Идейная «мечтательная» Аркадия, как и личная, вырастает из образов садов и древних построек.

«Чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах», — пишет Григорьев в мемуарах [Григорьев, 1980, с. 8], называя обилие садов одной из внешних, то есть заметных с первого взгляда, поэтических сторон этой части города. Григорьев сетует в мемуарах на то, что поэзия Замоскворечья не была замечена даже Островским, которого в своих критических статьях Григорьев называл не иначе как поэтом.

Это кажущееся противоречие объясняется тем, что в своей критике Григорьев подразумевал под словом *поэт* «выразителя нашей народной сущности в ее **многообразных** проявлениях» [Григорьев, 1985, с. 263], то есть не обязательно идеальных. В воспоминаниях же поэтическое приравнивается Григорьевым к идиллическому. Драматические произведения Островского, одного из немногих писателей того времени, рисующих образ купечества, создают далеко не идеализированный образ Замоскворечья.

Из предшественников Григорьева любованию Замоскворечьем можно обнаружить у Батюшкова в «Прогулке по Москве» (однако не без ироничного подтекста): «Вся панорама Москвы за рекою! <...> Чудесное смешение зелени с домами цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противоположность видов городских с сельскими видами. <...> Здесь представляется взорам картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте. Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо всё великое» [Батюшков, 1934, с. 298—299]. В том, что Григорьев

в своих воспоминаниях начинает прогулку по Москве с Кремля, Р. Виттакер видит отсылку к Батюшкову [Whittaker, 1983, с. 398]. Однако неизвестно, был ли Григорьев знаком с текстом Батюшкова, который опубликовали впервые только в 1869 году [Батюшков, 1934, с. 592], то есть после смерти Григорьева. Так или иначе, Батюшков лишь бегло касается поэтичности Замоскворечья, и его описание предваряет вовсе не аркадийные представления о Москве.

Идиллических описаний Москвы не оставил и А. А. Фет, проживавший с 1839 до 1842 года во втором замоскворецком доме Григорьевых на Малой Полянке. В своих мемуарах 1881 года «Ранние годы моей жизни», отрывки из которых были опубликованы Б.Ф. Егоровым вместе с воспоминаниями Григорьева, Фет уверял: «дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я», в котором произошло «полное мое перерождение из бессознательного в более сознательное существо» [Григорьев, 1980, с. 314]. Однако в университетский период своей жизни, на который и пришла пора дружбы с Фетом, Ап. Григорьев отдался «могущественным веяниям науки и литературы» и «успел почти заглушить в себе» «всё “народное”, даже местное, что окружало» [Григорьев, 1980, с. 7] его воспитание. Видимо, по этой причине ни в ранней поэзии Фета (например, в цикле «К Офелии»), ни в его мемуарах восприятие Замоскворечья не переросло в образ Аркадии, который Григорьев возлелеял уже в 1851—1855 годы, в период сотрудничества в «молодой редакции» журнала «Москвитянин», когда в его душе восстановилась вера «в грунт, почву, народ» [Григорьев, 1980, с. 43].

Таким образом, сетования Григорьева по поводу отсутствия «поэтических» описаний Замоскворечья были небезосновательны. Как уже было отмечено, одним из основных элементов «идейной» Аркадии Григорьева является образ сада. Однако если в ранней прозе Григорьева сад давал героям (Виталину и Лизе) ощущение связи с природой, то в мемуарах близость Замоскворечья природным истокам выражается не только обилием садов, но и самим характером этой части города. В Замоскворечье «улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались...» [Григорьев, 1980, с. 8], и это ощущение «нерукотворности» улиц составляет вторую наружную поэтическую сторону Замоскворечья.

Естественность и природная стихийность в форме и направлении улиц присуща не только Замоскворечью, но и всей Москве, которую Григорьев называет «великолепно разросшимся и разметавшимся растением» [Григорьев, 1980, с. 8]. Эта метафора, неоднократно повторяемая Григорьевым в тексте мемуаров, ведет свое происхождение из почвеннических убежде-

ний писателя. Она связана с важной для почвенников категорией «живой жизни».

Почвенники положительно оценивали, как в окружающей действительности, так и в искусстве только то, что появлялось в ходе естественного развития вещей и имело связи с прошлым. Таким «порождениям жизни» приверженцы почвеннического мировоззрения противопоставляли «головные продукты», которые были либо механически скопированы с чужого образца, либо сконструированы с опорой на теории (к которым можно отнести и архитектурные планы).

«Растительность» Замоскворечья и Москвы указывает на их «органичность», связь с «живой жизнью», позволяя видеть в них пространственное измерение «почвы». Как отмечает польский исследователь почвенничества А. де Лазари, «почва» является символом, связанным с категорией народности [Де Лазари, 2004, с. 61]. Народность же в свою очередь понималась почвенниками как «индивидуальность нации» и считалась «основой, исходным пунктом и сутью создающейся культуры» [Де Лазари, 2004, с. 80]. Таким образом, реальная близость Замоскворечья природе (обилие садов) и идейная, в соответствии с которой Замоскворечье и Москва признавались «порождениями жизни», превращали их в Аркадию и почву всего русского народа.

Если мы обратимся ко второму обязательному компоненту Аркадии — образу дома, то в первую очередь наше внимание привлекут идиллические описания купеческих домов в Замоскворечье. Забирая читателей в прогулку по замоскворецким улочкам, Григорьев отмечает: «Перед нами потянулись уютные, красивые дома с длинными-предлинными заборами, дома большей частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами; внутри глядит все так семейно и приветливо, что, если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле» [Григорьев, 1980, с. 10].

Подобным образом Москва описывается и в раннем очерке Григорьева 1847 года «Москва и Петербург: Заметки зеваки. I. Вечер и ночь кочующего ваяра в Москве и Петербурге»: «Перед вами вереницами и рядами тянутся длинные заборы дворов, то большие, то небольшие дома <...>. Посмотрите, сквозь ставни этих уютных маленьких домиков прорезывается приветная полоса света <...>, остановитесь, если вам <...> некуда спешить, и в цельное окно хорошенького домика вы увидите и стол с стоящим на нем самоваром, и целый круг семьи, столпившейся около этого

самовара...» [Григорьев, 1988, с. 312]. В данном очерке нет прямых указаний на то, что описываются дома именно на замоскворецкой улице, однако об этом говорит читателю сходство описаний.

При описании жилых домов в Замоскворечье Григорьев не делает акцента на их старинности, ему важно показать, что в их стенах теплится семейный очаг. Именно семейственность, а не «врожденное во всяком истом петербуржце отвращение от домашнего очага» [Григорьев, 1988, с. 314] способствует сохранению в быту традиций предков. В мировоззрении Григорьева это является гарантией непрерывной связи с прошлым, а значит и с жизнью.

Принципиальным оказывается и то, что Григорьев находит связь с прошлым в домах той части города, где проживают купцы и мещане, а не дворяне. Как мы узнаем из письма писателя 1856 года А. И. Кошелеву, «залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь» [Григорьев, 1999, с. 106]. С этой точки зрения Аркадия русской народности гнездится в Замоскворечье.

Свое духовное, содержательное измерение «почва» приобретает благодаря обилию в Замоскворечье церквей и монастырей. Образ старого дома, традиционный для усадебной Аркадии русской литературы, трансформируется в идейной Аркадии Григорьева в образ древних церквей и монастырей.

Обозревая вместе с читателем панораму Замоскворечья, Григорьев обращает внимание на то, что, разрастаясь, улицы города будто бы притягивались к «старым монастырям» [Григорьев, 1980, с. 19]. Такой характер местности доказывает древность города, очертания которого формировались естественным путем. Ведь монастыри изначально воздвигались за пределами города, которые постепенно расширялись, достигали монастырских стен и распространялись дальше. Кроме того, монастыри выполняли раньше функцию городских форпостов, и жители, населяющие территорию вокруг, могли укрыться в них в случае военной угрозы.

Своей «растительностью» и древностью Москва в тексте мемуаров подспудно противопоставляется Петербургу, который представлялся Григорьеву и его соратникам из редакций журналов «Время» и «Эпоха» «головным продуктом». Как пишет Р. Виттакер, сама причина написания мемуаров могла корениться в желании почвенников ответить на воспоминания И. И. Панаева, которые вышли в 1861 году в «Современнике» и возвышали Петербург за счет принижения Москвы [Виттакер, 2000, с. 326—327].

Если «усердие наших реформаторов-строителей» [Григорьев, 1980, с. 9] привело к появлению города из ниоткуда, без каких-либо связей с почвой и прошлым, то Замоскворечье радуется глаз путника «*оригинальным* стилем *старых*, приземистых и узорчатых церквей с главами-луковицами» [Григорьев, 1980, с. 20], а в праздничный день здесь «воздух дрожит от звона колоколов *старых* церквей» [Григорьев, 1980, с. 9].

Вторжение в изначальный облик московских церквей воспринимается Григорьевым негативно: «Не будем останавливаться перед церковью Успенья в Казачьем. Она хоть и была когда-то *старая*, ибо прозвище ее намекает на стоянье казаков, но ее уже давно так *поновило* усердие богатых прихожан, что она <...> получила *общий*, казенный характер» [Григорьев, 1980, с. 10]. Обновление церкви связывается Григорьевым с потерей оригинального стиля. Писатель же считал самобытность главной чертой древних московских построек.

В «низенькой, темно-красной с луковицами-главами» церкви Григория Неокесарийского Григорьева также привлекает «*оригинальная* физиономия», которая отличает ее от «большой части послепетровских церковных построек» [Григорьев, 1980, с. 9] (отсюда мы узнаем, что древними постройками Григорьев считает те, что появились в допетровское время). Писатель сравнивает эту церковь в Замоскворечье с церковью Santa Maria della Spina в Пизе, «маленькою-премаленькою, но такою узорчатою и вместе так строго стильною, что она даже кажется грандиозною» [Григорьев, 1980, с. 10].

Это сравнение с итальянской архитектурой не единственное в григорьевских мемуарах. «Мосты *итальянских* городов, хоть бы, например, Пизы» [Григорьев, 1980, с. 9] напоминают Григорьеву маленький каменный мост через Москву-реку, в начале Большой Полянки писатель отмечает «большой дом *итальянской* и хорошей итальянской архитектуры» [Григорьев, 1980, с. 9]. Замоскворечье в целом сравнивается со старым римским районом Трастевере, который тоже расположен за рекой по отношению к центру города, благодаря чему в нем сохранились «старые *римские* типы» [Григорьев, 1980, с. 8].

Возникновение параллели с Римом при описании российской столицы, утратившей свой статус, пробуждает в читателе ассоциации с концепцией «Москва — третий Рим» и указывает на несомненную роль Москвы как исторической и культурной колыбели страны, которую оспаривал западнически настроенный кружок «Современника», с которым полемизировали как Григорьев, так и журналы братьев Достоевских.

Однако возникновение Италии значимо и в контексте Аркадии. Как пишет Е.Е. Дмитриева, «в России (как и в Европе, в частности, в Гер-

мании) Италия нередко выступала как паллиатив Рая, Аркадии и проч.» [Дмитриева и др., 2008, с. 154].

Несмотря на желание показать поэтичные стороны своей Аркадии, Григорьев не приукрашивает и не прячет ее негативных черт. Их выразителями становятся герои пьес Островского, к которым Григорьев прибегает для того, чтобы яснее обозначить тип описываемых им людей. При этом типы, чьи описания Григорьев считает необходимым привести, не вызывают никакой симпатии.

По словам писателя, барыни круга, к которому принадлежало семейство Григорьевых, своими выжимками и ужимками, ощипываниями и одергиваниями были похожи на мать Хорькова из «Бедной невесты» [Григорьев, 1980, с. 17]. Юные жительницы Замоскворечья, читающие журналы и ожидающие, «что в последней главе “Онегина” явится опять не убитый им <...> Ленский и соединится с овдовевшею Ольгою, равномерно как Онегин с Татьяной» [Григорьев, 1980, с. 59], напоминают Григорьеву героиню комедии «Доходное место» Фелисату Герасимовну Кукушкину. Описывая семинаристов 1830-х годов, из среды которых вышел домашний учитель Григорьева, писатель замечает, что семинарская обстановка, воспитывающая в юношах нигилизм и практическое отношение к жизни, породила таких беспринципных взяточников, как Максютка Беневоленский из «Бедной невесты» и Аким Акимыч Юсов из «Доходного места» [Григорьев, 1980, с. 26—27].

Ощущается в мемуарах и горечь от невозможности постоянного обладания Аркадией: «есть в беспредельной, вечно иронической и всевластной силе, называемой жизнью, нечто такое, что постоянно, злокозненно рушит всякие мирные Аркадии» [Григорьев, 1980, с. 38]. При описании уютных купеческих домов появляется даже сомнение в реальности идиллического уголка: «Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле» [Григорьев, 1980, с. 10].

Понимание хрупкости и неабсолютной идеальности Аркадии присуще уже ранней прозе Григорьева. Его очерк «Москва и Петербург: Заметки зеваки. I. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге» завершается предупреждением: «Приблизьтесь-ка, попробуйте, к каждому явлению в особенности, хотя к семейному началу, которого присутствие так ярко в Москве везде и повсюду... <...> Эти живые глаза [купеческих дочек], подернутые влагой, они, может быть, состоят непосредственно на ловле мужчин — ибо ни в ком столько, как в московской барышне, ловля мужа не перешла в тело и кровь» [Григорьев, 1988, с. 316].

В театральном рецензии 1846 года «Роберт-дьявол», которую рассматривают в ряду художественного наследия Григорьева, констатируется неизбежность потери Аркадии (которая, кстати, связана у рассказчика с Москвой): «Возвратимся к нашим барашкам», т. е. к тому, что я жил еще в Москве, что я был молод и влюблен — и это будет истинное возвращение к пасущемуся состоянию, ко временам счастливой Аркадии, к тем славным временам для каждого из нас, когда общественные условия не заставили еще нас отрастить когти и не обратили в плотоядных животных» [Григорьев, 1980, с. 177—178]. Здесь Григорьевым называется виновник утраты Аркадии — общественные условия, которые ставят перед молодыми людьми мелочный идеал капитализма и превращают их в «медные лбы». Так «последний романтик» в русле реалистического метода детерминирует зыбкость образа Аркадии новой эпохой, превратившей мечтателей в «ненужных людей». При этом интересно, что Григорьев не отождествляет капиталистов с купцами ни в ранней прозе, ни в мемуарах.

8. Выводы

Таким образом, истоки образа Аркадии в художественной прозе Ап. Григорьева можно объяснить его мировоззрением «последнего романтика» (недаром Григорьев сам себя так называл). При этом Григорьев при создании этого образа, что особенно видно в мемуарах, прибегает к категории типического и детерминации средой и эпохой, — это сближает на уровне поэтики его метод с реалистическим.

Отличительной чертой Аркадии у Ап. Григорьева становится перенесение ее из деревни в город. При этом, несмотря на отсутствие связи с усадебной культурой и стремлением показать недворянскую городскую Аркадию, Григорьев конструирует свой идеальный топос на основе элементов, характерных для «усадебного мифа». Аркадию Григорьева отличает двойственность: писатель говорит о «родовой» и «мечтательной» Аркадии, причем в «мечтательной» также обнаруживаются две грани: личная и идейная. При описании идейной Аркадии Григорьев тоже прибегает к двум основным топосам усадебной Аркадии: старому дому и саду, трансформируя их в древние архитектурные постройки и представления о «растительности», «органичности» Замоскворечья и вместе с ним всей Москвы. В этом находит выражение почвенническое мировоззрение писателя, в соответствии с которым Григорьеву удается на уровне поэтики показать, что Москва является Аркадией и «почвой» русского народа.

Литература

1. *Батюшков К. Н.* Прогулка по Москве / К. Н. Батюшков // Батюшков К. Н. Сочинения. — Москва ; Ленинград : Аcaademia, 1934. — С. 297—309.
2. *Виттакер Р.* Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822—1864 гг.) / Р. Виттакер ; пер. с англ. М. А. Шерешевской. — Санкт-Петербург, 2000. — 500 с.
3. *Геллер Л.* Утопия в России / Л. Геллер, М. Нике ; пер. с фр. И. В. Булатовского. — Санкт-Петербург : Гиперион, 2003. — 312 с.
4. *Глазкова М. В.* «Усадебный текст» в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. А. Фет : диссертация ... кандидата филологических наук / М. В. Глазкова. — Москва, 2008. — 273 с.
5. *Григорьев А.* Воспоминания / А. Григорьев ; подготовил Б.Ф. Егоров ; отв. ред. С. А. Рейсер. — Москва : Наука, 1980. — 439 с.
6. *Григорьев А. А.* Другой из многих / А. А. Григорьев // Проза русских поэтов XIX века / сост. А. Л. Осповата. — Москва : Советская Россия, 1982. — 432 с.
7. *Григорьев А. А.* Москва и Петербург : заметки зеваки. 1. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге / А. А. Григорьев // Григорьев А. А. Одиссея последнего романтика / сост. А. Л. Осповат. — Москва : Московский рабочий, 1988. — С. 311—316.
8. *Григорьев А. А.* Письма / А. А. Григорьев ; подготовили Р. Виттакер, Б. Ф. Егоров ; отв. ред. И. Г. Птушкина. — Москва : Наука, 1999. — 473 с.
9. *Григорьев А.* По поводу спектакля 10 мая [1863] «Бедность не порок» Островского / А. Григорьев // Григорьев А. Театральная критика / отв. ред. А. Альтшуллер. — Ленинград, 1985. — С. 259—274.
10. *Гродская Е. Е.* Автобиографический герой Аполлона Григорьева (поэзия, проза, критика, письма) : диссертация ... кандидата филологических наук / Е. Е. Гродская. — Москва, 2006. — 205 с.
11. *Де Лазари А.* В кругу Федора Достоевского. Почвенничество / А. де Лазари. — Москва : Наука, 2004. — 207 с.
12. *Дмитриева Е. Е.* Жизнь усадебного мифа : утраченный и обретенный рай / Е. Е. Дмитриева, О. Н. Купцова. — Москва : ОГИ, 2008. — 528 с.
13. *Добролюбов Н. А.* Московские элегии М. Дмитриева (№ 9) / Н. А. Добролюбов // Добролюбов Н. А. Сочинения Н. А. Добролюбова. — Санкт-Петербург, 1896. — Т. 2 — 563 с.
14. *Доманский В. А.* Русская усадьба в художественной литературе XIX века: Культурологические аспекты изучения поэтики / В. А. Доманский // Вестник Томского государственного университета. Серия, Филология. — 2006. — № 291. — С. 56—60.
15. *Егоров Б. Ф.* Аполлон Григорьев / Б. Ф. Егоров. — Москва : Молодая гвардия, 2000. — 219 с.
16. *Егоров Б. Ф.* Русские утопии / Б. Ф. Егоров // Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века. — Москва, 1996. — Т. 5 (XIX век). — С. 225—276.

17. *Егоров Б. Ф.* Художественная проза Ап. Григорьева / Б. Ф. Егоров // Григорьев А. Воспоминания / подготовил Б. Ф. Егоров ; отв. ред. С. А. Рейсер. — Москва : Наука, 1980. — С. 337—367.

18. *Кочеткова Н. Д.* Тема «золотого века» в литературе русского сентиментализма / Н. Д. Кочеткова // XVIII век : сборник 18 / отв. ред. Н. Д. Кочеткова. — Санкт-Петербург : Наука, 1993. — С. 172—186.

19. *Ларионова А. Н.* Поэтика автобиографической прозы А. А. Григорьева : диссертация ... кандидата филологических наук / А. Н. Ларионова. — Череповец, 2017. — 186 с.

20. *Литературная энциклопедия терминов и понятий* / гл. ред. А. Н. Николюкин. — Москва : Интелвак, 2001. — 1600 с.

21. *Микитюк Ю. М.* Органическая теория как фундамент почвенничества / Ю. М. Микитюк // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2000. — № 1, Т. 2. Философия, 2010. — С. 24—32.

22. *Памятники архитектуры Москвы. Замоскворечье* / Г. В. Макаревич, Б. Г. Альтшуллер, В. И. Балдин, Л. А. Давид, Э. Д. Добровольская. — Москва : Искусство, 1994. — 320 с.

23. *Тирген П.* Образы Аркадии в русской литературе XVIII—XIX вв. / П. Тирген // Имагология и компаративистика. — 2015. — № 2 (4). — С. 69—110.

24. *Щукин В. Г.* Миф дворянского гнезда : геокультурологическое исследование по русской классической литературе / В. Г. Щукин. — Kraków : Jagellonian University Press, 1997. — 315 с.

25. *Whittaker R.* My Literary and Moral Wanderings : Apollon Grigor'ev and the Changing Cultural Topography of Moscow / R. Whittaker // Slavic Review. — Vol. 42, № 3. — 1983. — Pp. 390—407.

“Moscow” as Ideal Topos in Prose by Apollon Grigoryev¹

© **Seredina Anna Olegovna (2017)**, orcid.org/0000-0003-0592-3026, PhD student, Department of Russian Literature History, Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), scientific researcher, Department of Russian Literature of the End of 19th — beginning of the 20th Century, Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), Serenaphil@mail.ru.

The image of Moscow as the Arcadia is considered in the early prose and memoirs by Apollon Grigoryev. The relevance of this work lies in the fact that the image of Arcadia in Apollon Grigoryev's prose did not become a subject of study of scholars, while it is undoubtedly unique: the writer moved Arkadia from rural space to urban. It is shown that the description of Zamoskvorechye as ideal space Grigoryev used images of the old house and garden, typical for manor of Arcadia, located usually in rural areas. In accord-

1 This scientific investigation was carried out with financial support of Russian Science Foundation (RSF, the project № 17-18-01432).

ance with Grigoryev's own classification in his memoirs there are "generic" and "dreamy" Arcadia, indicating the elements of an ideal topos, which can be found in early prose. Special attention is paid to the analysis of the "dreamy" Arcadia, which acquires a double dimension: personal, biographical, and ideological associated with pochvennichestvo beliefs of the writer. It is proved that Grigoryev's aim was to present Zamoskvorechye, and with it the whole Moscow as "the Russian soil." This conclusion the author makes based on the fact that Grigoryev at the level of poetics appeals to the categories central to pochvennichestvo. In the image of Arcadia there is also convergence of romantic and realist poetics.

Key words: Apollon Grigoryev; memoirs; Arcadia; ideal topos; pochvennichestvo; romanticism; realism.

References

- Batyushkov, K. N. 1934. Progulka po Moskve. In: Batyushkov, K. N. *Sochineniya*. Moskva; Leningrad: Academia. (In Russ.).
- De Lazari, A. 2004. *V krugu Fedora Dostoevskogo. Pochvennichestvo*. Moskva: Nauka. (In Russ.).
- Dmitrieva, E. E., Kuptsova, O. N. 2008. *Zhizn' usadbnogo mifa: utrachennyy i obretenny ray*. Moskva: OGI. (In Russ.).
- Dobrolyubov, N. A. 1896. Moskovskiy elegii M. Dmitrieva (№ 9). In: *Dobrolyubov, N. A. Sochineniya N. A. Dobrolyubova*. Sankt-Peterburg. 2. (In Russ.).
- Domanskiy, V. A. 2006. Russkaya usadba v khudozhestvennoy literature XIX veka: Kulturologicheskiye aspekty izucheniya poetiki. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya, Filologiya*, 291: 56—60. (In Russ.).
- Egorov, B. F. 1980. Khudozhestvennaya proza Ap. Grigor'eva. In: Grigor'ev, A. *Vospominaniya*. Moskva: Nauka. (In Russ.).
- Egorov, B. F. 1996. Russkiye utopii. In: Egorov, B. F. *Ocherki po istorii russkoy kultury XIX veka*. Moskva. 5 (XIX vek). (In Russ.).
- Egorov, B. F. 2000. *Apollon Grigoryev*. Moskva: Molodaya gvardiya. (In Russ.).
- Geller, L. 2003. *Utopiya v Rossii*. Sankt-Peterburg: Giperion. (In Russ.).
- Glazkova, M. V. 2008. «Usadbnyy tekst» v russkoy literature vtoroy poloviny XIX veka: I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, A. A. Fet: dissertatsiya... kandidata filologicheskikh nauk. Moskva. (In Russ.).
- Grigoryev, A. 1980. *Vospominaniya*. Moskva: Nauka. (In Russ.).
- Grigoryev, A. 1985. Po povodu spektaklya 10 maya [1863] «Bednost' ne porok». In: *Grigoryev, A. Teatralnaya kritika*. Leningrad. (In Russ.).
- Grigoryev, A. A. 1982. *Drugoy iz mnogikh. Proza russkikh poetov XIX veka*. Moskva: Sovetskaya Rossiya. (In Russ.).
- Grigoryev, A. A. 1988. Moskva i Peterburg: zametki zevaki. 1. Vecher i noch' kochuyushchego varyaga v Moskve i Peterburge. In: Grigoryev, A. A. *Odisseye poslednego romantika*. Moskva: Moskovskiy rabochiy. (In Russ.). (In Russ.).
- Grigoryev, A. A. 1999. *Pisma*. Moskva: Nauka. (In Russ.).
- Grodskaya, E. E. 2006. *Avtobiograficheskiy geroy Apollona Grigoryeva (poeziya, proza, kritika, pisma): dissertatsiya... kandidata filologicheskikh nauk*. Moskva. (In Russ.).

- Kochetkova, N. D. 1993. Tema «zolotogo veka» v literature russkogo sentimentalizma. In: *XVIII vek: sbornik 18*. Sankt-Peterburg: Nauka. (In Russ.).
- Larionova, A. N. 2017. *Poetika avtobiograficheskoy prozy A. A. Grigoryeva: dissertatsiya...* kandidata filologicheskikh nauk. Cherepovets. (In Russ.).
- Makarevich, G. V., Altshuller, B. G., Baldin, V. I., David, L. A., Dobrovolskaya, E. D. 1994. *Pamyatniki arkhitektury Moskvy. Zamoskvorech'e*. Moskva: Iskusstvo. (In Russ.).
- Mikityuk, Yu. M. 2010. Organicheskaya teoriya kak fundament pochvennichestva. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina, 1/2*: 24—32. (In Russ.).
- Nikolyukin, A. N. (ed.). 2001. *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatij*. Moskva: Intelvak. (In Russ.).
- Shchukin, V. G. 1997. *Mif dvoryanskogo gnezda: geokulturologicheskoye issledovaniye po russkoy klassicheskoy literature*. Kraków: Jagellonian University Press. (In Russ.).
- Tirgen, P. 2015. Obrazy Arkadii v russkoy literature XVIII—XIX vv. *Imagologiya i komparativistika, 2 (4)*: 69—110. (In Russ.).
- Vittaker, R. 2000. *Posledniy russkiy romantik: Apollon Grigor'ev (1822—1864 gg.)*. Sankt-Peterburg. (In Russ.).
- Whittaker, R. 1983. My Literary and Moral Wanderings: Apollon Grigor'ev and the Changing Cultural Topography of Moscow. In: *Slavic Review, 42/3*: 390—407.